

Франц Хессель



ad marginem
18+

Прогулки по Берлину

Предисловие Вальтера Беньямина

Франц Хессель

Прогулки по Берлину

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74361936

ISBN 978-5-908105-23-1

Аннотация

Книга, вышедшая в 1929 году – одно из лучших свидетельств о духе времени двадцатых годов XX века в Германии. В противовес скорости, давлению и ажиотажу Веймарской республики автор предлагает читателю посвятить себя прогулкам, бесцельно бродить вместе с ним по городу. «Медленно идти по оживленной улице – особое удовольствие. Тебя захлестывает спешка других пешеходов, словно ты купаешься в прибрежных волнах». Хессель прогуливается по шумному Берлину, проходит через площади, улицы, фабрики и парки, посещает восточную часть города с задними дворами и рыночными залами, западную с ночными кафе. Фланёр Хесселя учится у города, соединяющего в себе скрытые и явные черты прошлого и будущего, равно как и мимолетного, неуловимого настоящего.

Содержание

Возвращение фланёра	7
Прогулки по Берлину	17
Подозрительная личность	17
Я учусь	24
Кое-что о работе	33
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Франц Хессель

Прогулки по Берлину

© Михаил Горошко, фотографии, 2026

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2026

Перевод осуществлен при поддержке Немецкого фонда переводчиков (Deutscher Übersetzerfonds)



Франц Хессель (1880–941). Фотограф неизвестен.

Возвращение фланёра

Вальтер Беньямин

Если бы нам вздумалось разбить все существующие описания городов на две группы в соответствии с местом рождения их автора, то наверняка обнаружится, что описания, созданные уроженцами, окажутся в явном меньшинстве. Поверхностные побуждения, экзотика, живописность – всё это действует лишь на приезжих. Чтобы прийти к образу города, будучи его уроженцем, требуются другие мотивы, более глубокие. Мотивы человека, путешествующего не в дальние края, а в прошлое. Книга о городе, написанная его уроженцем, всегда будет сродни мемуарам – автор не зря прожил там свое детство. Как прожил свое в Берлине Франц Хессель. И если он теперь поднимается и идет по городу, то ему неведом тот лихорадочный импрессионизм, с которым так часто подходит к своему предмету его описатель. Ибо Хессель не описывает, он рассказывает. Более того: он пересказывает то, что слышал сам. «Прогулки по Берлину» – это эхо всего, что рассказывал город ребенку с первых его дней. Это книга всецело эпическая, мемуар на ходу, книга, для которой память была не источником, но музой. Она проходит по улицам, и каждая улица для нее катится под уклон. Она уводит книзу,

и если не к Матерям¹, то всё же в такое прошлое, которое тем более чарует, что это не только личное, частное прошлое самого автора. В асфальте, по которому он идет, его шаги пробуждают удивительный резонанс. Газовый фонарь, озаряющий мостовую, бросает двусмысленный свет на двойное дно этой земли. Город как мнемоническое подспорье гуляющего одиночки, он вызывает к жизни больше, чем собственные детство и юность, и больше, чем историю самого города.

То, что открывает город, – это необъятное зрелище фланёрства, которое мы мнили окончательно упраздненным. И что же, теперь оно возрождается здесь, в Берлине, где оно никогда не знало расцвета? Тут надо понять, что берлинцы переменились. Сомнительная грюндерская² спесь понемногу уступает место привязанности к Берлину как к родине. И одновременно с тем в Европе обострился вкус к действительности, вкус к хронике, к документу, к детали. В подобную ситуацию попадает тот, кто достаточно юн, чтобы заставить эту перемену, и как раз достаточно зрел для личной близости с последними классиками фланёрства, с Аполлинером, с Леото³. Ведь тип фланёра создан Парижем. Удиви-

¹ Ср. «спуск к Матерям» во второй части трагедии И.В. Гёте «Фауст». Сцена «Темная галерея» (Пер. Б. Пастернака). – Здесь и далее примечания М. Коноваленко.

² Эпоха грюндерства – период экономического подъема во второй половине XIX века в связи со стремительной индустриализацией в Германии и Австро-Венгрии.

³ Поль Леото (1872–1956) – французский писатель, литературный и театраль-

тельно, что не Римом. Но не слишком ли торными путями ходит в Риме сама мечтательность? И не слишком ли переполнен этот город храмами, огороженными площадями, национальными святынями, чтобы с каждым булыжником мостовой, с каждой лавочной вывеской, с каждой ступенькой, с каждой подворотней безраздельно входить в грезу прохожего? Великие реминисценции, исторический трепет – для истинного фланёра это всё хлам, который он с радостью уступит туристу. И все свои знания о художественных каморках, о домах, где родился тот или иной, или о княжеских вотчинах он отдаст за запах одного-единственного порога или за шершавость одной-единственной облицовки, которые запоминает любая домашняя собака. Многое тут может быть связано и с характером римлян. Ибо не приезжие, но сами парижане сделали Париж обетованной землей фланёра, «ландшафтом, выстроенным из чистой жизни», как его назвал однажды Гофмансталь. Ландшафт – вот чем в действительности становится Париж для фланёра. Или вернее: город перед ним расступается по своим диалектическим полюсам. Он открывается ему как ландшафт и охватывает его как комната.

«Подарите городу часть вашей любви к пейзажу!»⁴ – говорит Франц Хессель берлинцам. Ах, если б они только пожелали разглядеть в своем городе ландшафт! Даже если бы не было у них Тиргартена, этой священной рощи фланёрства, с

ный критик.

⁴ Наст. изд. С. 248

ее видами на сакральные фасады вилл, на шатры, где во время джаза можно видеть, как листва тоскливее обычного клонится к земле, на Новом озере, которое запечатлело в памяти свои бухты и заросшие деревьями островки, где «мы зимой, совершенно по-голландски, взявшись за руки крест-накрест, выписывали огромные восьмерки на льду, а осенью садились с деревянных мостков возле лодочного сарая в лодку с дамой сердца, которая руководила плаванием»⁵ – даже не будь всего этого, город всё равно остался бы ландшафтом. О, если бы они могли почувствовать, что парус неба над арками железнодорожных эстакад синее так же, как над горными цепями Энгадина, что тишина вздымается из сутолоки, как из морского вала, а ход дня отражается в узких центральных улочках ясно, как в горном озере! Правда, истинное, полнокровное бытие горожанина в городе, без которого этого знания не бывает, дается недешево. «Нам, берлинцам, – пишет Хессель, – нужно еще как следует обжить свой город»⁶. Несомненно, он говорит это в буквальном смысле слова, причем не столько о домах, сколько об улицах. Ибо улицы – жилище вечно беспокойного, вечно подвижного существа, что между стенами городских домов переживает, испытывает, узнает и выдумывает не меньше, чем индивидуум под защитой своих четырех стен. Для массы – а фланёр живет вместе с нею – блестящие, эмалированные вывески украшают стены

⁵ Наст. изд. С. 155

⁶ Наст. изд. С. 250

ничуть не хуже, чем в буржуазном салоне – живописные полотна; брандмауэры для нее – конторки, газетные киоски – библиотеки, почтовые ящики – декоративная бронза, банки – ее будуар, а терраса кафе – эркер, с которого она озирает свое хозяйство. Там, где укладчики асфальта вешают на решетку свои тужурки, – ее вестибюль, а подворотня, выходящая на волю из анфилады дворов, – вход в потайные комнаты города.

Уже в шедевальной «Приготовительной школе журнализма»⁷ исследование вопроса об обитании предстает как хтонический мотив. Как всякий неопровержимый и выверенный опыт охватывает и свою противоположность, так и здесь совершенное искусство фланёра включает в себя обитание. Однако прообраз обитания – матрица или футляр. То есть нечто, с чего безошибочно считывается фигура обитающего внутри. Если же вспомнить, что свое жилье имеют не только люди и звери, но и духи, и прежде всего – образы, то нетрудно будет видеть, что занимает фланёра и чего он ищет. Он ищет образы, где бы они ни таились. Фланёр – жрец *genius loci*⁸. В этом неприметном прохожем со жреческим достоинством и с чутьем детектива, в его тихом всезнании есть нечто от честертоновского отца Брауна, этого мастера криминалистики. Чтобы узнать автора с этой стороны,

⁷ См.: Hessel F. Nachfeier. Berlin: Ernst Rowohlt, 1929.

⁸ Гений места (лат.).

стоит только пройти вслед за ним по «Старому Западу»⁹, – увидеть, как он отыскивает лар под порогом дома, как он склоняется перед последними памятниками прежней культуры жилья. Перед последними памятниками – ибо сигнатура нынешнего слома эпох в том, что уходит время обитания в прежнем смысле слова, для которого на первом месте была потаенность. Гидион, Мендельсон, Корбюзье¹⁰ сделали место пребывания людей прежде всего проходным пространством для всех мыслимых сил и волн света и воздуха. Грядущее стоит под знаком прозрачности – не только жилищ, но, если верить русским, которые планируют отменить воскресенье в обмен на скользящие выходные дни, то даже и недель. Однако не следует думать, что благоговейного, останавливающегося на музейных редкостях взгляда будет достаточно, чтобы раскрыть всю древность «Старого Запада», в который Хессель ведет своих читателей. Лишь тот, в ком, пускай даже тихо, с такой ясностью возвещает себя новое, может дать столь оригинальный, столь свежий взгляд на всю эту едва состарившуюся старину.

Посреди *plebs deorum*¹¹ кариатид и атлантов, Помон и путти¹², обнаружением которых встречает он своего читателя,

⁹ Подразумевается западная часть исторической застройки Берлина.

¹⁰ Зигфрид Гидион (1888–1968) и Эрих Мендельсон (1887–1953), как и Ле Корбюзье (1887–1965) – выдающиеся архитекторы-модернисты.

¹¹ Низшего пантеона (лат.).

¹² Помона – римская богиня изобилия; ср., напр., статую Помоны в Королевских колоннадах на Потсдамер-штрассе в Берлине; путти – фигурки младен-

милее всего ему всё же те царившие когда-то, а теперь обратившиеся в пенаты, в невзрачных домовых божков, фигуры, что, запыленные, живут на лестничных площадках, безымянные – в коридорных нишах, эти хранительницы *rites de passage*¹³, которые прежде сопровождали всякий шаг через деревянный или же метафорический порог. От них Хессель освободиться не может, и их владычество осеняет его своим крылом даже там, где их изображения уже давно исчезли или стоят в неизвестности. В Берлине немного ворот, но этот великий знаток порогов умеет различать малейшие переходы, отличать город от равнины, одну часть города от другой, – стройплощадки, мосты, арки городской железной дороги и скверы: всё это находит у него внимание и почет, не говоря о тех налитых часах, тех священных двенадцати минутах или секундах малой жизни, что соответствуют *twelve nights*¹⁴ макрокосма и на первый взгляд имеют такой зловещий вид. «Послеобеденные „чайные танцы“ во Фридрихштадте, – знает автор, – имеют тоже свои поучительные часы до начала представления, когда в сумеречном зале, возле еще не расчехленных инструментов, какая-нибудь танцовщица перекусывает и болтает при этом с гардеробщицей или официан-

цев-ангелов.

¹³ Обрядов перехода (франц.).

¹⁴ Двенадцать ночей (англ.) – время святок между праздниками Рождества и Богоявления.

Бодлер сказал жестокие слова о городе, что переменяется скорее, чем человеческое сердце¹⁶. Книга Хесселя полна утешительных прощальных формул для горожан. Это настоящий письмовник на случай разлуки, и кому не пришла бы охота расстаться – если бы он только мог проникнуть словами в самое сердце Берлина, как делает Хессель со своими музами с Магдебургер-штрассе...

Они уже исчезли. Полуразвалившиеся, они стояли там, держа в руках, пока у них еще были руки, шар или перо. Они провожали нас своими каменными глазами, когда мы проходили мимо, и это стало частью нас – то, что эти языческие девушки смотрели на нас¹⁷.

Мы видим только то, что на нас смотрит. Мы можем лишь то, за что мы не в ответе¹⁸.

Никто еще не постиг философии фланёра глубже, чем Хессель в этих словах. Как-то раз он шел по Парижу и увидел консьержек, что сидят после обеда в прохладных парадных

¹⁵ Наст. изд. С. 222.

¹⁶ Ср. в стихотворении Шарля Бодлера «Лебедь» из сборника «Цветы зла»: «... la forme d'une ville / Change plus vite, hélas! que le cœur d'un mortel» («...облик города / Меняется скорей, увы! чем сердце смертного»).

¹⁷ Наст. изд. С. 148.

¹⁸ Беньямин цитирует эссе Ф. Хесселя «Приготовительная школа журнализма. Парижский дневник», вошедшее в сборник «Попразднество» («Nachfeier») 1929 года. Ср.: Hessel F. Nur was uns anschaut, sehen wir / hrsg. von H. Wiesner. Berlin: Literaturhaus, 1988. S. 101.

и шьют, и почувствовал, что они смотрят на него взглядом няньки-кормилицы. И нет ничего более характерного для отношения обоих этих городов – Парижа, его поздней и зрелой родины, и Берлина – родины первой и суровой, – чем то, что у берлинцев эти долгие прогулки мгновенно привлекают внимание и вызывают подозрения. «Подозрительная личность» – называется поэтому первый очерк. Тут можно оценить, какое сопротивление воздуха встает в этом городе на пути фланёрства и как угрюм бывает взгляд вещей и людей, обращенный вослед мечтателю. Именно здесь, а не в Париже, понимаешь, как фланёр мог отдалиться от фигуры прогуливающегося философа и обрести черты того рыскающего по социальным дебрям оборотня, которого навеки запечатлел в своем «Человеке толпы» Эдгар По.

Довольно о «Подозрительной личности». Второй очерк называется «Я учусь». Это опять-таки излюбленное слово автора. Писатели, осваивая город, по большей части называют это дело словом «изучать». Между двумя этими словами пролегает целый мир. Изучать может каждый, а учиться – лишь тот, кто рассчитывает надолго вперед. В Хесселе говорят самовластная склонность к долговечности, аристократическое неприятие нюансов. Переживание ищет уникальности и сенсации, опыт – вечно того же. «Париж, – как сказано было несколько лет назад, – это узенький решетчатый балкон перед тысячей окон, это красная жестяная сигара перед тысячей табачных лавок, это цинковая табличка на ма-

леньком баре, это кот консьержа»¹⁹. Фланёр вспоминает как ребенок, фланёр стоит на своей мудрости как старость. Теперь и для Берлина составлен такой реестр, такой египетский сонник бодрствующего. И если берлинец захочет искать в своем городе иных пророчеств, кроме световых реклам, то эта книга придется ему по сердцу.

[1929]

¹⁹ Там же.

Прогулки по Берлину

Перевод с немецкого

Марины Кореневой

Подозрительная личность

Медленно идти по оживленной улице – особое удовольствие. Тебя захлестывает спешка других пешеходов, словно ты купаешься в прибрежных волнах. Но с моими дорогими берлинцами не всё так просто, даже если ты стараешься ловко обходить их. Я постоянно ловлю на себе их подозрительные взгляды, когда фланирую среди этих занятых, торопящихся людей. Мне кажется, они принимают меня за карманного вора.

Шустрые, подобранные девушки, обитательницы большого города с ненасытными полуоткрытыми губами, испытывают раздражение, если мой взгляд задерживается на их проплывающих мимо плечах и парящих щечках. Не то чтобы они имеют что-то против того, чтоб на них смотрели. Но этот замедленный взгляд безобидного наблюдателя нервирует их. Они замечают, что у меня за ним ничего «такого» не стоит.

И действительно, за ним ничего такого не стоит. Я хотел бы удержать этот первый взгляд. Я хотел бы поймать – или

снова найти — этот первый взгляд на город, в котором живу.

В тихих пригородных районах, кстати сказать, я тоже неприятным образом обращаю на себя внимание. Где-то на севере есть площадь с деревянной конструкцией, рыночными рядами, а поблизости лавка вдовы Кольман, торгующей всяким старьем. И там у нее — над пачками макулатуры, картонками от кроватей и шкапами — на дощатой веранде горшки с геранью. Герань — пульсирующий красный цвет в тускло-сером мире, цвет, от которого мне не оторваться. Вдова сердито косится на меня. Она не отваживается обругать меня — наверное, держит меня за шпика, еще выяснится, что бумаги у нее не в порядке. Но я-то ничего плохого ей не хочу, я бы с удовольствием порасспросил ее, как идут дела и как она живет. Она видит, что я наконец ухожу и теперь наблюдаю на противоположной стороне улицы за тем, как дети играют в мяч, бросая его о стену. Вид длинноногих девочек — прелестное зрелище. Они отбивают мяч то рукой, то головой, то грудью и вертятся при этом, и кажется, будто подколенная впадинка — средоточие и исходная точка всех их движений. Я чувствую, как старьевщица за моей спиной вытягивает шею. Еще чего позовет полицейского, чтобы он разобрался, что я за тип. Подозрительна роль наблюдателя!

А вот уличные торговцы, громко предлагающие свой товар, ничего не имеют против того, чтобы ты присоединился к ним. Мне же милее было бы присоединиться к женщине с пышной прической, как из прошлого столетия, которая мед-

ленно раскладывает вышивки на синей бумаге и молча смотрит на покупателей. Но я не из их числа, едва ли она думает, что я что-нибудь приобрету у нее.

Иногда меня тянет заглянуть во дворы. В старом Берлине жизнь во дворах и садовых домиках более интенсивная, душевная – и в этом заключается богатство дворов, бедных дворов с каким-нибудь кустиком в углу, стойками для выбивания ковров, помойными бачками и колодцем, оставшимся со времен, когда еще не было водопровода. По утрам, по крайней мере, мне удастся проникнуть сюда, когда тут выступают певцы и скрипачи или шарманщик, который к тому же мастерски умеет свистеть в два пальца, или удивительный человек, у которого спереди барабан, а сзади литавры (на ноге у щиколотки у него приторочен крючок, от которого тянется веревка к литаврам за спиной и тарелкам, и, когда он топает ногой, колотушка ударяет по литаврам и тарелки бряцают). Тогда я могу пристроиться к старой привратнице – она скорее мать кого-то из привратников, потому что выглядит очень старой, и для нее это, судя по всему, привычное занятие – сидеть тут на складном стульчике. Ей мое присутствие несколько не мешает, и я могу спокойно разглядывать выходящие во двор окна, где толпятся машинистки и белошвейки из контор и мастерских, желающие послушать концерт. В полном блаженстве они наслаждаются неожиданным перерывом, пока какой-нибудь докучливый начальник не загоняет их обратно. Окна все голые. Только в

одном окне на предпоследнем этаже есть шторы, там висит птичья клетка, и, когда скрипка начинает от всего сердца рыдать или шарманка принимается жалобно гудеть, канарейка тоже подает голос, единственная на все молчаливые ряды окон. И это прекрасно. Но мне бы хотелось прикоснуться и к вечерней жизни этих дворов, посмотреть на последние игры ребятишек, которых по очереди зовут домой, на возвращающихся в свои квартиры девушек, мечтающих сразу опять выйти на улицу, однако мне не хватает храбрости и повода, чтобы проникнуть сюда, ведь сразу видно, что я тут посторонний.

Здесь в стране на всё должны иметься законные основания, иначе нельзя. Здесь важно не столько где ты, сколько куда ты направляешься. Для нашего брата это непросто.

* * *

Мне еще, можно сказать, повезло, что одна моя сердобольная подруга разрешает мне иногда сопровождать ее, когда она отправляется по делам. Например, в мастерскую по ремонту шелковых чулок¹²⁰, на дверях которой написано: «Принимаются спустившиеся петли». Здесь, в мрачноватом бельэтаже, снует горбунья по комнате со спертым, пахнущим

²⁰ Здесь и далее цифрами обозначены затекстовые примечания переводчика (см. с. 252–263), астерисками – постраничные примечания переводчика. – Примеч. ред.

шерстью воздухом и дающими свет новенькими глянцевыми обоями. Разные товары и шитейные принадлежности разложены по столикам и этажеркам вокруг фарфоровых туфелек, бисквитных амурчиков и бронзовых девушек, как будто тут собралось целое стадо и расположилось возле старого колодца и среди руин. И тут я могу всё как следует разглядеть и приобщиться к какой-то части городской и мировой истории, пока женщины беседуют.

Или я провожаю ее к портному, который живет в дворовом флигеле на первом этаже на Курфюрстенштрассе. Тут короткая, не достающая до пола занавеска отделяет рабочее пространство от спальни. На занавеску наброшен махристый платок, на котором в цвете изображен император Фридрих² в бытность свою кронпринцем.

– Таким он приехал из Сан-Ремо, – говорит портной, поймавший мой взгляд, и показывает мне затем свои другие монархические сокровища, фотографию последнего императора Вильгельма с дочерью на коленях в солидной раме³ и известную картинку с изображением старого императора⁴ в окружении детей, внуков и правнуков. Он бы с удовольствием перешел моей республиканке зеленый жакет, но в глубине души, по его словам, он на стороне «старых господ», тем более что республика заботится только о молодых людях. Я не пытаюсь его переубедить. С его коллекцией он вряд ли воспримет мои политические взгляды. Он очень приветливо

обходится с песиком моей подруги, который всё обнюхивает, ко всему проявляет любопытство и всё время что-то выискивает, вроде меня.

Я с удовольствием хожу гулять с этим маленьким терьером. Мы ходим, оба погруженные в мысли. Благодаря ему у меня появляется повод гораздо чаще останавливаться, чем это было бы позволительно такой подозрительной личности, как я.

Недавно с нами произошла неприятная история. Я забрал его из дома, который для нас обоих был чужим. Мы спустились на один пролет, к площадке с лифтом, забранном решеткой. Мрачным незванным гостем был этот лифт, обосновавшийся на некогда просторной лестнице. И пышнотелые дамы, изображенные на гербах, в полном смятении смотрели на эту странствующую тюремную клетку, и драгоценности вместе с прочими атрибутами чуть не падали у них из рук. Конечно, в этом ансамбле разных эпох было столько разнообразных запахов, что мой спутник совершенно отрешился от реальности и правил приличия – и на первой ступеньке крутой лестницы, спускавшейся от бельэтажа к подножью подъемника... оконфузился! Такое, заверила меня моя подруга, могло произойти с этим чистоплотнейшим созданием только в моем присутствии. Я принял сказанное к сведению с некоторым удовольствием. Менее приятен был упрек, который мне бросил в тот самый роковой момент привратник, высунувшийся, к несчастью, из своей будки как раз в

тот момент, когда мы оконфузились. Справедливо сочтя меня совинником, он обратился не к собачонке, а ко мне. Он грозно указал пальцем на место злодеяния и сердито изрек:

– Что это?! А еще культурный человек называется, образованный, поди!

Я учусь

Да, он прав, мне нужно что-то предпринять по части своего образования. Если просто болтаться по городу, ничего не получится. Мне нужно заняться чем-то вроде краеведения, вникнуть в прошлое и будущее этого города, который всё время в движении и так и норовит всё время измениться. Поэтому в нем так трудно открывать для себя что-то новое, особенно если ты тут живешь... Я хочу заглянуть в будущее.

Архитектор привел меня в свое просторное светлое ателье. Он водит меня от стола к столу, показывает планы и макеты строений, мастерских и конторских зданий, лабораторий, аккумуляторной фабрики, проекты выставочного павильона для самолетов, чертежи новых поселков, которые помогут тысячам людей выбраться из своих квартир и убожества казарменных доходных домов на свет и воздух. При этом он рассказывает мне, что планируют сделать берлинские градостроители и что они уже отчасти собираются реализовать в ближайшее время. Не только окраинные районы должны преобразиться за счет масштабного заселения, но и в старой части будут внедрены новые формы. Будущая площадь Потсдамерплац будет красоваться в окружении двенадцатиэтажных высотных домов. Шойненфиртель¹ исчезнет, вокруг Бюловплац и Александерплац будут воздвигнуты кварталы нового мира. Разрабатывается всё больше про-

ектов, чтобы привести в соответствие нужды застройки и транспорта. В будущем никакому спекулянту от строительства и никакому каменщику не позволено будет испортить стиль города своими произвольными выдумками. Это не допускается нашими строительными нормами и правилами.

Архитектор рассказывает об идеях своих коллег: поскольку город постепенно растягивается по берегу Хафеля в направлении Потсдама, один из них разработал план железнодорожных и транспортных линий, в который он включил чудесные лесные массивы и некоторые озера, чтобы превратить Хафель между Пихельсдорфом и Потсдамом в подобие гамбургского Внешнего Альстера. Другой задумал создать между Бранденбургскими воротами и Тиргартеном большую представительную площадь, так что сам парк будет начинаться только от Аллеи победы. На территории ярмарки должен вырасти целый выставочный город в форме гигантского яйца, с внутренним и внешним кольцом павильонов, новым спортивным форумом и каналом, в конце которого среди садовых террас должен расположиться ресторан на воде. Потсдамские и Анхальтский вокзалы будут перемещены на запасные пути ближайшего пригородного вокзала, чтобы освободить место для широкой улицы с универмагами, отелями и большими гаражами. В связи с завершением прокладки Среднегерманского канала изменится берлинская водная сеть, и необходимость соответствующего переоформления старых берегов и укрепление новых, строительство мостов,

причалов ставят перед градостроителями новые задачи. К этому добавляются новые строительные материалы: стекло и бетон. Стекло вместо кирпича и мрамора. Уже есть целый ряд домов, в которых полы и лестницы сделаны из черного стекла, стены – из матового стекла или алебаstra. А еще – железные дома, облицованные керамической плиткой, с рамами из блестящей бронзы.

Архитектор замечает мое смятение и улыбается. Он хочет быстро преподнести мне наглядный урок. Спускаемся вниз и садимся в машину. Мы мчимся по Курфюрстендамм мимо старых архитектурных монстров и новых спасительных «решений». Мы останавливаемся перед зданиями кабаре и Дворца кино, которые при всех своих тонких отличиях образуют выразительное единство; оба они вдохновенно кружатся в пространстве, прочерчивая размашистые линии, из которых складывается их впечатляющая простота, при том что одно из них больше растянуто в ширину, другое – в высоту. Мастер рядом со мной разъясняет мне замысел другого мастера. И чтобы представить мне наглядно изнутри сооружения сказанное словами, он выходит со мной из машины и ведет меня по широкому проходу, мерцающему темным красным цветом, внутрь театра и показывает мне, как всё это сценическое сооружение рождается из формы круга и как светлые стены безо всяких отдельных уродливых украшений членятся на отдельные сегменты за счет панельных узоров.

Затем мы катим по поперечной улице мимо нескольких

мещанских кварталов Шарлоттенбурга, мимо озера Лицензее к радиовышке и выставочным павильонам, которые он в нескольких словах превращает в целый выставочный город. Не успел он закончить, как мы уже подъехали к площади Рейхсканцлерплац, и он представляет мне район развлечений, который здесь будет построен, с кинотеатрами в двух зданиях, ресторанами, танцзалами, большим отелем и световой башней, возвышающейся надо всем. Мы сворачиваем на улицу, параллельную Кайзердамм, и останавливаемся перед большой строительной площадкой. Мой провожатый выступает тут в роли застройщика. К нам подходят работники и отчитываются. Я тем временем смотрю на раскинувшийся передо мной хаос, среди которого бросаются в глаза два пилона при входе, уже имеющие очертания. Затем я иду вместе с моим мастером по щебенке и гравию до края, где начинается бездна, являющаяся центром. Общий план сооружений, каким ты его видишь на кульмане, считывая словно с нотного листа эту «застывшую музыку»², раскинулся теперь передо мной. Вот там будут воздвигнуты два больших ангара для депо, «спальные места» для вагонов. Здесь пройдут железнодорожные рельсы. По краям будут разбиты сады, в которых под окнами многочисленных светлых квартир будут играть дети служащих, машинистов, кондукторов. Мы едем вдоль длинной стороны большого четырехугольника. В одном месте только начато строительство улицы, и нам придется пройти часть пути по бурелому. А вокруг нас из слов

мастера вырастает целый город.

Показав мне то, что еще находится только в процессе становления, он везет меня туда, где можно посмотреть то, что уже завершено. По мосту через Шпрее рядом с дворцом Шарлоттенбург наша машина быстро катит вдоль канала к широкой гавани Вестхафен. Короткий взгляд на тюремные стены возле озера Плётцензее. Мы проезжаем по бесконечной дороге вдоль берега мимо монастыря и доходных домов до Мюллерштрассе. Появляется огромный поселок, заселенный машинами и людьми. Широкий подъезд открывает вид на три цеха на железных опорах. Мы проходим через ворота и видим изнутри трехэтажные боковые флигели с квартирами, четыре этажа фасадной стороны и мощные пилоны по углам. Затем мы ходим повсюду, сначала заглядываем в ангары из стекла и металла, в которых живут вагоны, смотрим наверх на вокзальный плафон, потом вниз, на странный мир переходов под рельсами. Потом идем в конторские помещения, ремонтные мастерские, и под конец, поднявшись по удобной лестнице, осматриваем некоторые прелестные квартиры.

Обходя этот комплекс, я понимаю, хотя и не могу это выразить в специальных строительных терминах, как художник за счет повторения определенных мотивов, подчеркивания определенных линий, за счет выделения острых краев возвышающихся плоскостей и прочего сумел придать этому гигантскому сооружению из обожженного кирпича, вбив-

шему в себя одновременно вокзал, контору и жилые помещения, поразительный единый облик.

На северной стороне мы стоим и смотрим на уходящие вдаль поля, и мне показывают крошечного соседа гиганта, «домишко, открытый всем ветрам»³. Люди называют его «полотенчико». Существование высоченных цехов и этой хижины является символом окраин Берлина.

* * *

Вечером этого наполненного впечатлениями дня я побывал в гостях у одной пожилой дамы, которая достала из секретера и сундука памятные вещицы, принадлежавшие некогда ее давно уже умершей родственнице, жившей в доме на Штралауерштрассе: английскую куклу в посеребренном платье из муслина и сохранивших свой цвет шелковых розовых туфельках с завязками крест-накрест, тарелочки и светильники, тщательно вырезанные из дерева, – игрушки, в которые эта родственница играла ребенком в саду у самой Шпрее и деревянного Сиротского моста, на котором стоял изображенный Менцелем на знаменитой гравюре Ходовецкий⁴ и смотрел на воду. Из жестяной коробочки она достает семейные бумаги с восковыми печатями. Мне разрешается полистать изящные памятные альбомы двоюродных прабабушек, в которых кудрявые островерхие буквы поэтиче-

ских посвящений соседствуют с раскрашенными букетами и нежнейшими пейзажами, созданными знакомыми художниками. В качестве стаффажа на этих пейзажах можно увидеть кое-где всадника в желтом фраке и в сапогах с отворотами или всадницу в фиолетовом платье. Букеты по форме и цвету сродни тем, что украшают тарелки и вазы, расписанные мастерами королевской фарфоровой мануфактуры.

Мне дают даже подержать в руках венчальную корону 1765 года с проволокой, обмотанной зеленым шелком, на которой крепились цветы. Я могу ощупать табакерку из агата. Добрая обладательница всех этих сокровищ снимает со стен небольшие семейные портреты: слегка припудренные женские головки с локонами и вуалью мягкого цвета, господа в париках и темно-синих фраках. А потом она рассказывает мне о берлинской светелке, прекрасной предшественнице всех гостиных с мебелью красного дерева и красных салонов, какие были у наших бабушек и дедушек, о той самой светелке, которая была вечно запертым на замок святилищем, куда детей пускали только по особым случаям. Мы открыли одну из ее любимых книг, «Юношеские воспоминания старого берлинца» Феликса Эберти⁵, и прочитали:

Стены были выкрашены в светло-серый цвет, обои встречались только у самых богатых людей. На стене Вильгельм Шадов, будущий директор Дюссельдорфской академии и друг юности моего отца, нарисовал в качестве свадебного подарка ему

четыре времени года — серым цветом на сером фоне с белой обводкой, что придавало изображению объем, так что чудилось, будто это настоящий рельеф. Прекрасный ковер с земляничными листьями, цветами и ягодами покрывал пол, изящная мебель была сделана из светлой березы. Небольшая люстра на четыре светильника, висевшая на стеклянных цепочках, казалась нам необычайно роскошной и представлялась непревзойденным шедевром, который мы с удовольствием пощупали бы руками, если бы это не было строго-настрого запрещено, хотя возможность удовлетворить это страстное желание имелась: потолки в комнате были невысокие, и, если подставить стул, вполне можно было бы дотянуться до сверкающих стекляшек⁶.

Мы заговорили о старинных берлинских интерьерах. У нее сохранились картинки, на которых видны обитые гобеленом ломберные столики, расшитые кресла, серванты с расписными фарфоровыми чашками, английские часы с боем на комод, «хорошо сохранившееся» лакированное пианино в углу времен Фридриха. Она помнит еще высокие постели, забираться на которые нужно было по ступенькам, балдахины *à la duchesse*²¹ и *à tombeau*²², мягкие плетеные валики для кроватей, ночные платья и ночные перчатки, обои en

²¹ Балдахин, закрепленный у изголовья (франц.).

²² Тяжелый прямоугольный балдахин (франц.).

hautelisse²³ с разными персонажами на французский манер. Всё больше предметов она извлекает на свет божий: дагеротипы, прорисованные тушью гравюры, вырезанные, наклеенные на листы и покрытые лаком фигуры...

Над нами висит бронзовая цветочная корзинка, из которой выглядывают зеленые листья и свисают стеклянные завитки светлых тонов. Эта красота – тридцатых-сороковых годов прошлого века, когда пошла новая мода на рококо. Свет мерцает на ночном ветру, как будто он не электрический, а от керосина. Для старой дамы уже было поздновато. Да и я почувствовал, что подустал от такого количества Берлина.

²³ Под гобелен (франц.).

Кое-что о работе

Несомненно, в других городах наслаждение жизнью, удовольствия и развлечения более заметны. Там, наверное, люди умеют развлекаться в разных формах – и в простых, и в изысканных. Их радости больше на виду, и в них больше красоты. Зато Берлин обладает своей совершенно особенной, видимой красотой, которая проявляется там и когда он работает. Ее можно обнаружить в его храмах машин, в святилищах точности. Нет более прекрасного здания, чем монументальный цех из стекла и железобетона, построенный Петером Беренсом для турбинной фабрики на Хуттенштрассе. И ни в одном соборе, стоя на хорах, не увидишь такого впечатляющего зрелища, какое предстает перед тобой с галереи цеха, когда ты оказываешься на одном уровне с человеком, который перемещается по воздуху в своей кабине вместе с кранами, поднимающими и транспортирующими тяжелые железные грузы. Ты еще не успеваешь понять, каким образом будут использованы эти лежащие внизу железные чудища для других таких же чудищ или иных монстров, но тебя уже захватывает один их вид: литые детали и литые корпуса, еще не обработанный зубчатый барабан и приводные валы, насосы и генераторы, собранные наполовину, сверлильные станки и шестеренчатые приводы, готовые к монтажу, гигантские и карликовые машины на испытательных стендах, части тур-

богенераторов в забетонированных центрифугах.

Если в этом цехе мы больше удивляемся, чем понимаем, то в небольших мастерских больше доступных для нашего понимания вещей. Мы видим, как никелевая сталь в форме стержня фрезеруется и шлифуется на лопате, как в желобки индукторного вала впиваются жестяные зубья, как намотанные катушки возбуждения цепляются между зубчиками механизма. Мы заходим в кузницу, где рабочие держат раскаленные куски железа под паровым молотом, который обрабатывает их, как мягкий воск.

Мы стоим у воды возле трансформаторной фабрики и смотрим, как уголь из лодок в вагонетках поднимается наверх в железную установку, которая безо всякого участия человека превращает его в угольную пыль. Мы заходим в цех, в котором никого нет, и наблюдаем за процессом сжигания в пылающей пещере. После залов с большими машинами мы посещаем отделение, где женщины наматывают тонкую проволоку, вальцуют гетинакс и прессуют слои из очень легких твердых гладких трубочек; из рук в руки переходит перфорационная пластина, которую раскаляют, смазывают маслом и обрезают.

На фабрике по производству счетчиков машина одним движением делает из жестяной пластины миску с высокими краями и затем проделывает в ней дырки. Среди разлетающихся искр ее потом заклепывают и сваривают. Добавляются магниты. Во всем здании идет непрерывная работа,

станки перемещаются с этажа на этаж и попадают в высокую шахту. Все детали и детальки, оказывающиеся в руках сидящих женщин, добавляются к будущему счетчику, вставляются, завинчиваются и проверяются; под конец счетчик запаковывается. Стальные стяжки обхватывают ящики, которые затем на тележках доставляются в лифт и поднимаются без участия человека посредством рычага. Никакой лишней траты сил, никакого ослабляющего напряжения; всё больше рабочий становится лишь контролером и управляющим машин. И точно так же, как перемещаются по транспортеру детали машин, плывут на ленте чашки и кружки, в которые девушки засыпают чай, кофе или какао, чтобы они, сделав круг и пройдя через кухню, вернулись в виде готового напитка. У каждой сидящей за конвейером за спиной стоит крошечный столик, где, однако, достаточно места для того, чтобы соседки той работницы, у которой сегодня день рождения, разложили на нем пестрые чашки, тарелки и ложечки, трогательно стоящие неподвижно рядом с бегущей лентой.

Совершенно необязательно всё понимать, достаточно видеть глазами, как тут всё беспрестанно движется и преображается. Здесь, в этом царстве усердного труда, есть один металл, у которого, как мне рассказали, очень высокая точка плавления и который очень плохо испаряется. Его нельзя плавить в печах, потому что они от этого развалятся, – вот почему его сначала превращают в металлический порошок, а затем обрабатывают прессами, молотками и зашлаковыва-

ют, чтобы затем снова отправить на плавку и получить постепенно твердые стержни, из которых затем делается проволока. Потом ты можешь увидеть, как проволока пропускается через молотковые машины и волочильные станы, как обтачиваются концы, а сама проволока накаливается и протягивается через стан до тех пор, пока не получается тонюсенькая ниточка, необходимая для электрической лампочки. Всё это делают машины, люди только запускают их, вынимают изделие и отправляют его дальше. И пока здесь изготавливаются тысячи тоненьких и всё утончающихся проволок, в других цехах создаются тысячи корпусов для лампочек. За круглыми машинными станками, вертящимися у них под руками, сидят терпеливые работники, подают в захватные устройства изделия и вынимают их, и машина послушно обжимает ножку лампы, насаживает держатель, обматывает его, плавит, откачивает воздух, снабжает цоколем, заклепывает, протравливает, штамповывает и упаковывает. Но это всего лишь часть работы. Дальше еще нужно всё перепроверить, произвести замеры, рассортировать, матировать и покрыть цветом.

Всё это непрерывно делается в Сименсштадте, Шарлоттенбурге, Моабите, Гезундбруннене, за Варшавским мостом и на Верхней Шпрее.

И насколько потрясающее зрелище открывается тебе, когда ты в цехе, с лестницы, с галереи смотришь на все эти вертящиеся и жужжащие машины, настолько же волнующее

впечатление возникает, когда ты видишь затылки и руки трудящихся там и встречаешься с ними взглядом, когда они поднимают глаза кверху.

Благодаря тому, что делают эти люди, приходит свет в твою маленькую комнату и скользит по фасадам домов, ярко освещая их, подчеркивая их красоту, преображая всё вокруг. Сияющие канелюры на потолке гигантского помещения образуют праздничный шатер из света. Контурное освещение разбивает фасад здания на сегменты, светящиеся струи заливают витрины, голубые лампы дневного света озаоряют отдел шелковых тканей и материал, который выкладывает продавец, имеет цвет, который у него бывает только на солнце. На улице на транспарантах движутся бегущие буквы, складываясь в слова, и исчезают, картинки возникают и меняются, молча катятся цветные колеса.

Из комплексов зданий светом выделяются целые отдельные дома. Можно себе представить, как будет выглядеть универмаг грядущих времен, стены и потолки которого будут сделаны из стекла и который весь будет освещен: днем – проникающим везде солнцем, ночью – светом, созданным людьми и машинами.

* * *

Всем этим занимаются в больших цехах, связанных с железом и электричеством. Но чтобы оценить трудолюбие бер-

линцев, следует заглянуть и на небольшие фабрики. Зайти в комплексы зданий и дворы на юго-востоке города. Посети, как это сделал я, фабрику по производству рам в квартале, связанном с кожаными и галантерейными товарами. На полах везде лежит древесина, поступившая с лесопилки, и сохнет на сквозняке. Когда ее разрезают, на краях каждого диска еще остается кусочек леса. В таком виде они поступают во врубовую машину с мелкими зубчиками, которые делают углы для сцепления деталей рамы, и в бывшие ворота дома летят стружки. Круговая пила уменьшает рейки. Если в больших машинных цехах люди выглядят крошечными рядом с гигантами и соблюдают осторожность, как моряки или горняки, имеющие дело со стихиями, то здесь мастера усмиряют своих механических «зверей» одной лишь силой взгляда. Я не могу оторвать глаз от горбуна возле круговой пилы, у которого сердито и властно начинают ходить желваки всякий раз, когда нож по его команде впивается в древесину.

Там, где кипят котлы с клеем и разложены стекло и картон, которые вставляются в рамы, — там хозяйничают девушки и женщины. Варщицы клея выглядят поглубже, чем простые клейщицы и полировщицы. Глядя на последних, можно написать целое исследование о связи между движением, которое должна выполнить рука, и самой рукой. Какие у них тоненькие пальцы, которыми они берут крошечные гвоздики, чтобы вбить их в слой картона на задней стороне рамы. Как терпеливы их длинные руки, когда они обрезают края

картинки, чтобы она хорошо легла в раму. Какие по-детски пухлые ладошки у бледной блондинки, которая втискивает жестяную форму в меловую массу, потом увлажняет полученное и наносит на деревянную поверхность, как это делают детишки на детской площадке, когда пекут в формочках «куличики» из песка. Ее симпатичная работа особенная, потому что орнаменты в стиле рококо, которыми она украшает рамы, не пользуются таким спросом, как простые, гладкие рамы, к тому же они дороже в производстве и не такие модные. Это сообщает им и их ни о чем не подозревающей создательнице особую красоту. В отдельном помещении работают позолотчики. Их лица закрыты масками, защищающими от бронзовой пыли, опасной для легких. К сожалению, публика и, соответственно, мелкие магазины, торгующие олеографиями, предпочитают исключительно позолоченные рамы. Со времен инфляции немцу снова хочется иметь у себя в доме побольше блеска. Даже рамки для фотографий должны быть позолочены. Старое доброе красное дерево больше никому не нужно. Благодаря рамкам для фотографий я узнаю кое-что интересное с точки зрения современной истории. Раньше любили сборные рамки, в которые помещалось несколько изображений, – всё семейство, к примеру, – теперь же каждая фотография выставляется по отдельности. Так разговор от рамок перешел к тому, что помещается в них: любезный директор фабрики ведет меня в выставочное помещение, где представлены любимые олеографии. Весьма

поучительное зрелище. Потому что среди товаров не первой необходимости, которые можно, смотря по обстоятельствам, назвать объектом роскоши или пищей для народа, олеография играет большую роль. Она является предметом обстановки бесчисленного множества комнат и душ.

Настоящим бестселлером остается уже много лет подряд кающаяся Мария Магдалена, возлежащая в синем одеянии и соблазнительно созерцающая череп. Причем ее жаждут иметь не только благочестивые граждане наряду с другими репродукциями на библейские темы, но и вполне светские люди. Возлежащие не слишком одетые дамы вообще имеют много шансов на успех. Причем в качестве обрамления ее окруженного амурчиками и растворяющегося в пушистых облаках «ложа» предпочтение отдается невысокому, но весьма широкому формату, который хорошо смотрится над кроватью. Если молодая пара, покупающая на счастье такие олеографии, всерьез намерена обзавестись потомством, то красавица на картинке слегка приосанивается и сопровождает рождение одного или нескольких детей. Не меньшей популярностью пользуются разнообразные домашние животные, приобретаемые для полноты семейного счастья. Не так давно самая популярная из возлежащих или сидящих дам была, как рассказал мне мой знающий провожатый, усовершенствована по желанию публики: ее пышные кудрявые волосы были удалены, а вместо этого она получила современную короткую стрижку под мальчика. В других областях покупате-

ли оставались консерваторами: всем известная знаменитая картина «Бетховен», на которой нарисованы расположившиеся на сумеречных диванах мужчины и женщины, слушающие игру на фортепьяно, пока еще не уступила место изображению какого-нибудь джаз-бенда. Из известных личностей рейхспрезидент перестал пользоваться любовью с тех пор, как стал носить гражданское, а его портреты в военной форме в избытке были закуплены в годы войны.

Времена года с их излюбленными работами и развлечениями — сеятели, вязальщицы снопов, охотники и проч. — на фоне соответствующего пейзажа всегда в ходу, причем каждое в свое время. Это меня несколько удивило, потому что я думал: зимой ты тоскуешь по весне, а осенью — по лету.

Я начал интересоваться статистикой. Мне хочется точно знать: сколько Магдален требуется Магдебургу? Сколько дам на подушках нужно Бреслау? Где «Молчание в лесу» Бёклина уступает старому Фрицу? Как применительно к олеографии изменился вкус в Мюнхене в период с 1918 по 1928 год? В каких городах и провинциях преобладает потребность в даме с ребенком, детьми или животными, вытесняющей даму с амурчиками? Я начал интересоваться статистикой.

* * *

Подобно тому как Багдад имеет свои отдельные базары, так и Берлин имеет городские районы, отличающиеся друг от

друга набором предприятий и заведений. Шпиттельмаркт, как мне сказали, отделяет район готового платья от района пальто. Я захожу на стороне готового платья на шляпную фабрику, меня отводят к рисовальщикам, которые по парижским моделям вырезают из картона разные формы, затем к девушкам, которые выкраивают по этим формам заготовки из кожи и тканей, затем в жужжащий зал, где работают швеи, и, наконец, в помещение, где железные формы разогреваются электрическим способом. Здесь сшитая шляпа с загнутыми полями приобретает свой окончательный вид. Сначала ее обрабатывают паром из шланга и отправляют после этого в некое подобие духовки, где она тихонько «доходит». Для историка культуры небезынтересно узнать, что сейчас, хотя почти и нет гарнитур, отделка шляп включает в себя элементы, напоминающие ленту или тесьму. Любопытно, наверное, и то, что с тех пор, как пошла мода на береты, производится немалое количество этих головных уборов, которые не сохраняют строго форму классического баскского берета, но делаются несколько шире, наподобие пажеских. На этой фабрике, где можно утром заказать шляпу и уже вечером получить ее, всё делается в одном месте от чертежа до упаковки. Только незначительная часть изделий получается из мастерских, в которых работают надомницы. Мне объясняют, какую важную роль в сфере пошива готового платья в Берлине играет подобное разделение труда, при котором «посредник» после обследования коллекций берет материа-

лы у крупных фирм и затем обрабатывает их частично в собственных помещениях, частично передает надомницам. Такой посредник обслуживает, к примеру, фабрику по производству фартуков, которую я посещаю в одном из огромных дворов на Кёпеникерштрассе. Эта фабрика имеет в Фогтланде филиал, занимающийся изготовлением тканей. Здесь же материал попадает в машину, которая может за раз разрезать несколько слоев, а затем переходит в усердные руки, которые уже на своих маленьких машинках подшивают подолы, или закладывают три складки, или пришивают по краю кружева и сажают поясик на пуговицу, которая держится крепче, чем пришитая вручную. На этом предприятии мне разрешили заглянуть и в конторские помещения, чтобы познакомиться с нововведениями в торговой области. Тут я вижу счетные машины, которые умножают цифры, машины, наклеивающие этикетки, современные картотеки, а на стенах – карты с маршрутами коммивояжеров, которых ждут внизу в гараже уложенные в машины по двадцать штук чемоданчики с образцами.

Разделение Берлина на отдельные «базары» достойно специального исследования. Тут есть, помимо обширных кварталов, где занимаются столярным делом и обработкой металла, изготовлением домашней утвари, шерстяных изделий, готового платья, отдельные уголки, отличающиеся от других: например, улица, на которой уже на протяжении многих десятилетий делаются осветительные приборы, – Риттер-

штрассе. На площади Морицплац находится международный экспортный склад, куда поступает товар из Рудных гор, Тюрингии и Северной Богемии – лошадки-качалки, чайные бабы, гребенки, фигурки Иисуса, оловянные солдатики и резиновые кавалеры. По всей Зайденштрассе стоят в витринах, как призраки, куклы от манекеновых фабрик, муляжи и «стильные фигуры» мастеров по оформлению витрин, манекены, которые тысячами расходятся по всей Германии и дальше, чтобы быть наряженными потом в рубашки, платья, пальто и шляпы. Интересно, какие рожи строят эти манекены с восковыми головами! Они подначивают тебя своими свернутыми в трубочку губами, щурят глаза, из которых взгляд вытекает как яд. Их щеки не кровь с молоком, а тусклая, сероватая желтизна с золотисто-зелеными тенями. Никакой пергидроль не превратит ваши волосы в такой ядреный белый цвет, какой отличает волосы этих фигур. Часто лица только условно намечены, отчего их выражение становится особенно порочным. В их окостенелости, как и в спортивной пружинистости, есть какая-то холодная смесь наглости и благородства, перед которыми ты, бедный, не можешь устоять. Волнующее впечатление производит степень их обнаженности. Покрытые золотым слоем голые куклы нагло красуются, а серебряные подмигивают, при том что на них ничего больше нет, кроме коричневатых ботинок; пышногрудые фигуры, скрываясь от тебя, прикрыты каким-то подобием фартука и чулками. Заслуживают внимания мужские

головы – бросается в глаза большое количество решительных мужчин со строгим взглядом и крошечными приклеенными усиками. Если же у них есть целое тело, а не какая-то отдельная часть, то они обыкновенно затянуты в трико, хотя бывает, что они наряжены во фраки и смокинги и находятся в обществе дам, игнорируя детишек в синих платьицах и красных галстуках, изображающих что-то такое перед нами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.